

31.5.2000
35
Дурова Наталья Юрьевна

Эту женщину представлять бессмысленно. Просто напомним: народная артистка СССР и России, лауреат Государственной премии, писатель, академик Российской академии естественных наук и Международной академии духовного единства народов мира, художественный руководитель, директор театрального центра «Страна чудес дедушки Дурова». Это — Наталья Дурова.

— Наталья Юрьевна, цирковая династия Дуровых существует почти сто сорок лет. Что касается дворняжничества, документов у меня много, как у породистого щенка из клуба собаководства. Род наш дворняжничий насчитывает шестьсот лет, а Дуровыми мы стали только при Иване Грозном. До этого были выходцы из Польши — Туровские, Туровы. Быть постельничим Ивана Грозного означало знать все тайны государства и ночных заданий государя. И не предавать! Вот за это шили государя. А за характер — годный, непокоренный — предки мои получили прозвище Дуровы, которое затем стало фамилией. Все Дуровы были преданы земле, на которой родились, всегда жили по христианским законам: посади ветку, чтобы выросло дерево, построй дом, заведи потомство, привей ему уважение к корням семьи. Ведь корни есть у всех: это наши бабушки, дедушки, отцы и мамы...

— Вы первая женщина в династии дрессировщиков Дуровых? — Нет, первой была моя бабушка. Потом — тетя. Дед очень серьезно изучал зоопсихологию, был разносторонне развитым человеком и от каждого члена семьи требовал того же. И страсть к первопродомству у меня от отца и деда, могу работать с любым животным. Сегодня выступаю с орланом. А с такими животными, как рысь, сивух, котик, байкальская нерпа, носура, цапля, карликовый бегемот, кинкажу до нас никто не работал.

— Простите, а кинкажу — это кто такой? — Это разновидность енота — маленький, длиннохвостый, с крупными глазами и торчащими круглыми ушами. Он делает все наоборот: правой лапой чешет левое ухо, левой — правое... Очень забавное существо!

— Для женщины у вас очень редкая профессия. Трудно стать дрессировщиком? — Кто хочет стать, тот, конечно, знает. Знаете, я раскрываю все свои секреты. Мое искусство — чудеса без чудес. Это хорошее знание зоопсихологии, этология — науки о поведении животных.



Лучший подарок — тонна сена

— Что для вас главное в вашей работе? — Главное — подарить праздник, дать передышку уставшему от повседневности человеку.

Наталья Юрьевна, а на личную жизнь у вас время остается? — Личная жизнь... Знаете, мой муж Михаил Пантелеймонович Болдуман, народный артист СССР, был замечательным человеком. Более полувека он отдал театру. Все свои лауреатские премии, а их у него было немало, он передавал железнодорожному улану города Жмеринка, потому что его отец был создателем этой узловой станции. Муж был очень скромным человеком и великим актером. Он — лучший исполнитель роли Вершинина в чеховских «Трех сестрах». Это мнение Станиславского и Немировича-Данченко. Тарасова и Болдуман были великолепной актерской парой! А ведь Михаил Пантелеймонович когда-то увел меня у жениха — Володи Соколова. Но мы трое остались друзьями на долгие годы. Моего мужа уже нет в живых, а я его до сих пор люблю.

— Наталья Юрьевна, а чего вы не любите, не хотите и не умеете делать? — Не люблю чиновников, которые безразлично относятся к людям. Не умею лгать. Не умею кланяться. Но если в чем-то виновата, если надерзала кому-то, всегда сама подойду к этому человеку. И никогда, ни за какие обиды не буду мстить. Уважаю чужую, мужество и честность. Особую слабость питаю к такому устаревшему понятию, как порядочность. Очень люблю всех детей. И кинкажу. И жестоко. Люблю потому, что знаю: человек жестоким не рождается, он становится жестоким.

— Как много времени уходит на подготовку одного номера? — Много. В соседней комнате сидят 16 полукаев. Вороны, павлины, куры, гусь, верблюдчик... Пальцев не хватит. Спуститесь в вольеры, посмотрите.

— А лично ваше зверье среди них есть? — Они все — мои.

— Как много времени уходит на подготовку одного номера? — Одинаково. Животные — как люди: один бездарный, долго думающий и никогда не изобретший. Но все равно начинают работать. Другой — талант, яркое дарование, но стервоза. Бывает и так. Но я их люблю. Вот такого шимпанзе Яшу вы нигде не найдете. Он стирает, он моет



таким экстремальным обстоятельством. И исправить ребенка можно только добром. Знаете, я во всем максималистка. Если я дружна с кем-то — это навсегда, если работаю с человеком, работаю с ним всю жизнь. Вот Вала, например, трудится со мной уже пятнадцать лет. И Эна, и Ирошка... На моих глазах родились их дети, потом внуки.

— Говорят, у вас даже звери на пенсии остаются... — Да, вот лев у меня очень старый, его частично парализовало. Но ничего, мы его выгнали. Я нашла в Подмосквовье завод, который выпускает препараты, восстанавливающие функции мышц.

— Всегда ли животные платят добротой? Я вижу на ваших руках шрамы... — Да, было много всякого...

Несмотря на это, я люблю своих животных. Они не виноваты — экстремальные обстоятельства. К примеру, лопнул софит на сцене. У животных — иску. За что они цепляются? За маму. А у них ведь не руки, а лапы с когтями. Или возьмите пеликанов, у которых клювы — две опасные бритвы. Когда мы работали в Японии, в контракт не входило медицинское обслуживание ни людей, ни животных. Нам с замечательным ветеринаром Володей Хромовым приходилось самим врачевать и тех, и других. Помню, как в песчаную бурю меня порвали пеликаны — четыре годовалых малыша повисли на руке. Вся рука была расплакана. Зашивали сами. Я — аккуратно крестиком и гладко — отсюда, а Володя с другой стороны. С детства меня приучали терпеть боль. Это и хорошо, и плохо. Хорошо, потому что у меня, как у всех Дуровых, низкое давление и еще одно наследственное заболевание — диабет, так что наркотики не полезны. Плохо, что не могу закричать, даже когда врач говорит: «Кричите, я же ломаю вам руку! Это же больно!» А я не могу — это привил мне с детства отец. Я умею заставить себя не чувствовать боль.

— Скольким у вас в штате животных-артистов? — Много. В соседней комнате сидят 16 полукаев. Вороны, павлины, куры, гусь, верблюдчик... Пальцев не хватит. Спуститесь в вольеры, посмотрите.

— А лично ваше зверье среди них есть? — Они все — мои.

— Как много времени уходит на подготовку одного номера? — Одинаково. Животные — как люди: один бездарный, долго думающий и никогда не изобретший. Но все равно начинают работать. Другой — талант, яркое дарование, но стервоза. Бывает и так. Но я их люблю. Вот такого шимпанзе Яшу вы нигде не найдете. Он стирает, он моет

посуду, а главное, он хороший человек, и я люблю его, как сына.

— Вас окружает много старинных вещей, но в них нет музейной каменелости... — Наверное, вещи живут, пока они кому-то нужны, пока им прикасаются. Каждая из них связана с какими-то событиями. Вот маленькая австрийская игрушка. Гобсбурги подарили ее Надежде Андреевне Дуровой, знаменитой кавалерист-девице, моей трижды прабабушке. А это — поверженный Наполеон. Уже когда император был сослан на Эльбу, специально для Надежды Андреевны сделали эту статуэтку из саржского фарфора. А за этим столиком сидел Александр Сергеевич Пушкин, правил «Записки кавалерист-девицы». Кстати, когда моя знаменитая прабабушка умерла, у нее в кармане нашли один царский рубль. Надежда Андреевна занималась

— А что это за красавица на фотографии? — Моя мама. Она — из рода Бородиных. Александр Порфирьевич Бородин, композитор, приходится моей маме прадедом. Кстати, его мать Евдокия выкриала из-под венеца. Юный офицер неосторожно пригласил на помолвку своего генерала, который к вечеру и украл невесту. Генерал этот был грузинским князем. Княжество получило не в наследство, даровали ему его за необычайную храбрость. Потому в Голубой книге наследственных дворян значится фамилия Дуровых, а в Белой (дворянство, дарованное императором) — фамилия Бородиных. Когда через три года Евдокия вместе с маленьким сыном Сашей вернулись домой, мальчика усыновил родной дядя — Порфирий. В противном случае ребенок стал бы бастардом, незаконно рожденным от высоких особ. А так он получил дворянский титул. В 14 лет Саша поступает в университет, блистательно его оканчивает, становится одним из ведущих химиков Европы, акдемиком двух европейских академий. Но его манит искусство. Последний клavier «Князя Игоря» лежал вот в этом ларце. Доводили его до конца друзья-композиторы из «Могучей кучки». А вот там — его дирижерская палочка... Надежда Андреевна была более чопорная, Дуровы — размахистей, шире. В одном были похожи — не кланялись. Ни ты, ни другие. Хотя всегда были при дворе.

— Следствием черты характера подарили вам жить или все же мешают? — Иногда мешают. И сильно. Зато помогают выживать и чувствовать себя человеком. Нам говорили так: «В наследство остаются культура и талант, поддерживаемый трудолюбием». А остальное приложится». А ведь как так: ведь для нас никогда не были фетишом.

— У вас удивительно правильная речь, великодушная дикция. Никаких междометий, что говорит о прекрасном слухе и хорошем слухе. Это — от астротаста? Или среда обитания сделала свое дело? — Мы получили в наследство от мамы, оставившей мне в наследство вычесанные волосы, большие, удивленные, стареющиеся как можно больше вобрать в себя глаза, и характер — так говорила мама.

— Наталья Юрьевна, почему такая артистичная, импозантная женщина, как вы, курит непростительный «Беломор»? — Я, наверное, неинтересный человек: у меня все — раз и навсегда.

— Вы любите получать подарки? — Когда был мой юбилей, меня спросили, что вам подарить? Ответила: подарите мне машину сена. И мне из Ярославля прибыло десять тонн сена — четыре машины. Это был такой подарок! Мы целый год существовали. Знаете, я благодарна и радуюсь любому человеку, который приходит и говорит: возьмите, ваш животный этот пригодится. И ничего не требуют взамен.

— Какое место в вашей жизни занимает литература? — Окончила литературный институт. Первая книга вышла, когда мне исполнилось 18 лет. А всего у меня свыше тридцати книг. В 1979 году мой сестры были признаны лучшими в Европе. Новая повесть «Мое становление» сейчас готовится к публикации. Знаете, что интересно? За рубежом проснулся интерес к моим старым произведениям. Недавно присылают мне «Новый Вашингтон», а там напечатана моя давнишняя повесть «Ваш номер».

— Наталья Юрьевна, что бы вы хотели пожелать читателям «Сударушки»? — Обрести себя в этой жизни. Никогда не сдаваться, даже если «хромает» здоровье. Верьте, что и его можно поправить. Бойтесь назойливости, чванливости и беспорядочной лени. А по жизни — еще хуже. Будьте личностями! И еще. Никогда не осуждайте время, в котором живете! Удачи вам, дорогие женщины!

Беседовал Виктор МЕНЬШОВ

Почему я боюсь Цветного бульвара? Оторопь, нервный перестук каблук... Я всегда перевожу дыхание только в лифте. Не видя в проемах лестницы окон, зажатая клеткой, бесшумно уносящей меня наверх, я пытаюсь сбросить с себя Цветной бульвар, где через дорогу от здания редакции «Литературной газеты», на другом берегу, есть круглый корабль под конусной крышей — дом № 13, Цирк. Моя земля, на которой я родилась. Боязнь, нежность, смирение до ужаса — испытываю я теперь при виде этого, спокойного подмигивающего огнями рекламы гиганта. Иной раз мне кажется, что я могу перебежать Цветной бульвар, чтобы прикоснуться глазами к распахнувшимся манежу. Но тут же — воспоминание ужаса, слитое в одно слово: крушение!

24 октября 1953 года у меня состоялась во Владивостоке премьера. Перед зрителями выступала удивительная в своей цепкой кошачьей грациозности — моя рысь Котыка. Нелепый непредвиденный случай: незнакомый костюм — и Котыка прямо на публике напала на меня. Однако мы продолжили работать, премьера состоялась.

Потом — скорая помощь, больница. Мамини глаза, пересохшие до самой глубины, в них моя боль и, как всегда, твердое решение.

— Поверьте мне, доктор! Я прошу вас помочь. Я знаю, вы хотите оперировать, но я настаиваю на другом: скажите, можно ли промыть. Это больно — но она должна выдержать. Необходимо — не будут изуродованы руки и ноги. Не бойтесь за исход. Верьте — это необходимо. Наташа — артистка цирка.

Мама стоит в операционной. Я зубами держу бинт и глазами цепляюсь только за ее фигуру. Почему-то вижу то расплывчато, то остро и резко... Лишь через несколько дней начинаю осознавать, что лежу во владивостокской гостиной, где мы поселились на время гастролей.

На тумбочке — корзина порядком увядших цветов. Рядом все мои родные: мама, отец и даже Хотунцев. Он, как всегда, покачивает пригнанной голубой, его сияют нос и беззубая добрая улыбка. Отец должен был бы принадлежать к плечу, однако он — наш вечный бестолковый и чудесный Человек, случайно ставший администратором.

— Нет, вы только подумайте! — смеется отец. — Часы обязательно войдут в историю криминалистики!

Подле меня — маленькие часы, когда-то их называли луковичей, теперь же наручные и изящные, они о прошлом напоминают лишь надписью на крышке: «Наталья Дуровой. 1916 г. Актриса театра «Би-Ба-Бо».

Их утром в день премьеры мне торжественно подарил отец: — Наталья от Натальи! Бабушкины часы.

Я не знала ее. Она погибла в годы гражданской войны, оставив мне в наследство вычесанные волосы, большие, удивленные, стареющиеся как можно больше вобрать в себя глаза, и характер — так говорила мама.

Я все время прислушивалась к их трогательному ходу и, волнуясь, похотела вместо «тик-так» смешное название театра — «Би-Ба-Бо-Би-Ба-Бо».

Цирк во Владивостоке всегда походил на ярмарочное гуляние. Краски зардевшихся осенних сопкок словно бликами покрывали толпы людей, спешащих в низину у порта. Море было совсем рядом... Иной раз ливни превращали цирк в его маленький плавающий кошачий островок. Мне это было очень дорого. Море! Оно наполняло непонятной таинственностью, словно судьбы тек, что придет прорадоваться и отключить в цирк, а потом навсегда исчезнет.

— Так вот, чтобы ты не нервничала, сначала уйди в себя, а потом раскройся, — давал мне напутствие отец. Мы вошли в цирк. Еще в голове был гул от говорившего потока публики. До премьеры осталось... — я потонула в часам.

— Папа! Часы?? — Что? Может быть, ты их оставила в гостиной? — Нет! Нет! Нет! — мы звонили дежурному, искали в гардеробной — нигде нет.

— Срезали! — заключил отец. И вот мы в милиции!

— Это, если не считать двух-трех фотографий, единственная память о моей матери, — отец чернело терзает расплетанную бумажку. — Она погибла в трагическую минуту. — Она погибла в трагическую минуту. — Она погибла в трагическую минуту. — Она погибла в трагическую минуту.

Почему я боюсь Цветного бульвара? Оторопь, нервный перестук каблук... Я всегда перевожу дыхание только в лифте. Не видя в проемах лестницы окон, зажатая клеткой, бесшумно уносящей меня наверх, я пытаюсь сбросить с себя Цветной бульвар, где через дорогу от здания редакции «Литературной газеты», на другом берегу, есть круглый корабль под конусной крышей — дом № 13, Цирк. Моя земля, на которой я родилась. Боязнь, нежность, смирение до ужаса — испытываю я теперь при виде этого, спокойного подмигивающего огнями рекламы гиганта. Иной раз мне кажется, что я могу перебежать Цветной бульвар, чтобы прикоснуться глазами к распахнувшимся манежу. Но тут же — воспоминание ужаса, слитое в одно слово: крушение!

24 октября 1953 года у меня состоялась во Владивостоке премьера. Перед зрителями выступала удивительная в своей цепкой кошачьей грациозности — моя рысь Котыка. Нелепый непредвиденный случай: незнакомый костюм — и Котыка прямо на публике напала на меня. Однако мы продолжили работать, премьера состоялась.

Потом — скорая помощь, больница. Мамини глаза, пересохшие до самой глубины, в них моя боль и, как всегда, твердое решение.

— Поверьте мне, доктор! Я прошу вас помочь. Я знаю, вы хотите оперировать, но я настаиваю на другом: скажите, можно ли промыть. Это больно — но она должна выдержать. Необходимо — не будут изуродованы руки и ноги. Не бойтесь за исход. Верьте — это необходимо. Наташа — артистка цирка.

Мама стоит в операционной. Я зубами держу бинт и глазами цепляюсь только за ее фигуру. Почему-то вижу то расплывчато, то остро и резко... Лишь через несколько дней начинаю осознавать, что лежу во владивостокской гостиной, где мы поселились на время гастролей.

На тумбочке — корзина порядком увядших цветов. Рядом все мои родные: мама, отец и даже Хотунцев. Он, как всегда, покачивает пригнанной голубой, его сияют нос и беззубая добрая улыбка. Отец должен был бы принадлежать к плечу, однако он — наш вечный бестолковый и чудесный Человек, случайно ставший администратором.

— Нет, вы только подумайте! — смеется отец. — Часы обязательно войдут в историю криминалистики!

Подле меня — маленькие часы, когда-то их называли луковичей, теперь же наручные и изящные, они о прошлом напоминают лишь надписью на крышке: «Наталья Дуровой. 1916 г. Актриса театра «Би-Ба-Бо».

Их утром в день премьеры мне торжественно подарил отец: — Наталья от Натальи! Бабушкины часы.

Я не знала ее. Она погибла в годы гражданской войны, оставив мне в наследство вычесанные волосы, большие, удивленные, стареющиеся как можно больше вобрать в себя глаза, и характер — так говорила мама.

Я все время прислушивалась к их трогательному ходу и, волнуясь, похотела вместо «тик-так» смешное название театра — «Би-Ба-Бо-Би-Ба-Бо».

Цирк во Владивостоке всегда походил на ярмарочное гуляние. Краски зардевшихся осенних сопкок словно бликами покрывали толпы людей, спешащих в низину у порта. Море было совсем рядом... Иной раз ливни превращали цирк в его маленький плавающий кошачий островок. Мне это было очень дорого. Море! Оно наполняло непонятной таинственностью, словно судьбы тек, что придет прорадоваться и отключить в цирк, а потом навсегда исчезнет.

— Так вот, чтобы ты не нервничала, сначала уйди в себя, а потом раскройся, — давал мне напутствие отец. Мы вошли в цирк. Еще в голове был гул от говорившего потока публики. До премьеры осталось... — я потонула в часам.

— Папа! Часы?? — Что? Может быть, ты их оставила в гостиной? — Нет! Нет! Нет! — мы звонили дежурному, искали в гардеробной — нигде нет.

— Срезали! — заключил отец. И вот мы в милиции!

— Это, если не считать двух-трех фотографий, единственная память о моей матери, — отец чернело терзает расплетанную бумажку. — Она погибла в трагическую минуту. — Она погибла в трагическую минуту. — Она погибла в трагическую минуту.



Премьера

— Не волнуйтесь, товарищ Дуров, — отвечает начальник, и перед нами вырастает фигура воскоконечного румяного парня в пиджаке и брюках-клеш.

— Папаша! Кто у цирка орудует? — задает ему вопрос.

— Товарищ капитан, вы сами знаете. Не я — Наливной.

— Ну вот, тебя я оставлю в залог... Чтоб сегодня же вещь была найдена! Ясно?

Парень кивнул. А мы, пригорюнившись, побрели к цирку.

Гардеробная. Деловито покашливая, не полая Макара на жердочке и его ворчливый возглас, копирующий уборщицу.

— Да никого нет!

Отец беспрестанно рассказывает о бабушке. Я вижу то ее — первую женщину-конферансье московского кафе «Стоило Пегаса», где собирались поэты, то — маленького мальчика, читающего стихи. Мальчиком был мой отец. То бабушка вырастает передо мной уже не сверхающей красавицей в странных пышных платьях, а медсестрой, ушедшей на фронт вслед за вновь обретенной матерью. А рядом — ее тень, ничего не требующая, со всем соглашающаяся, драматический артист с длинной фамилией Петровобратский.

Его я знаю, но никак почему-то не могу представить его тем романтичным, беззаветно преданным другом моей бабушки, к которой трудно отнестись это «старое» слово — ведь прошла она всего лишь двадцать восемь лет.

Я видела Петровобратского в театре. Он — король Лир. Седые пряди, уставшие, сведенные в трагическую дугу брови. Мы сидели с отцом у него за кулисами в антракте.

— Значит, едешь в Астрахань? — он осторожно поправил плетение грубых кожаных сандалий.

— Да! Я хотел! Мне хочется обязательно побывать у мамы. Где искать ее могилу? — спрашивал отец.

— Трудно, Юра! Я сам хоронил Тату, помню только потрясение — жуткое до донску. Где-то под Астраханью ее зарыли колокозакки.

Петровобратский — драматический артист — тогда привез деду ее волосы — косу, и это — единственная память... Что делать? Что делать?!

— Не волнуйтесь, товарищ Дуров, — отвечает начальник, и перед нами вырастает фигура воскоконечного румяного парня в пиджаке и брюках-клеш.

— Папаша! Кто у цирка орудует? — задает ему вопрос.

— Товарищ капитан, вы сами знаете. Не я — Наливной.

— Ну вот, тебя я оставлю в залог... Чтоб сегодня же вещь была найдена! Ясно?

Парень кивнул. А мы, пригорюнившись, побрели к цирку.

Гардеробная. Деловито покашливая, не полая Макара на жердочке и его ворчливый возглас, копирующий уборщицу.

— Да никого нет!

Отец беспрестанно рассказывает о бабушке. Я вижу то ее — первую женщину-конферансье московского кафе «Стоило Пегаса», где собирались поэты, то — маленького мальчика, читающего стихи. Мальчиком был мой отец. То бабушка вырастает передо мной уже не сверхающей красавицей в странных пышных платьях, а медсестрой, ушедшей на фронт вслед за вновь обретенной матерью. А рядом — ее тень, ничего не требующая, со всем соглашающаяся, драматический артист с длинной фамилией Петровобратский.

Его я знаю, но никак почему-то не могу представить его тем романтичным, беззаветно преданным другом моей бабушки, к которой трудно отнестись это «старое» слово — ведь прошла она всего лишь двадцать восемь лет.

Я видела Петровобратского в театре. Он — король Лир. Седые пряди, уставшие, сведенные в трагическую дугу брови. Мы сидели с отцом у него за кулисами в антракте.

— Значит, едешь в Астрахань? — он осторожно поправил плетение грубых кожаных сандалий.

— Да! Я хотел! Мне хочется обязательно побывать у мамы. Где искать ее могилу? — спрашивал отец.

— Трудно, Юра! Я сам хоронил Тату, помню только потрясение — жуткое до донску. Где-то под Астраханью ее зарыли колокозакки.

Петровобратский — драматический артист — тогда привез деду ее волосы — косу, и это — единственная память... Что делать? Что делать?!

— Не волнуйтесь, товарищ Дуров, — отвечает начальник, и перед нами вырастает фигура воскоконечного румяного парня в пиджаке и брюках-клеш.

— Папаша! Кто у цирка орудует? — задает ему вопрос.

— Товарищ капитан, вы сами знаете. Не я — Наливной.

— Ну вот, тебя я оставлю в залог... Чтоб сегодня же вещь была найдена! Ясно?

Парень кивнул. А мы, пригорюнившись, побрели к цирку.

Гардеробная. Деловито покашливая, не полая Макара на жердочке и его ворчливый возглас, копирующий уборщицу.

— Да никого нет!

Отец беспрестанно рассказывает о бабушке. Я вижу то ее — первую женщину-конферансье московского кафе «Стоило Пегаса», где собирались поэты, то — маленького мальчика, читающего стихи. Мальчиком был мой отец. То бабушка вырастает передо мной уже не сверхающей красавицей в странных пышных платьях, а медсестрой, ушедшей на фронт вслед за вновь обретенной матерью. А рядом — ее тень, ничего не требующая, со всем соглашающаяся, драматический артист с длинной фамилией Петровобратский.

Его я знаю, но никак почему-то не могу представить его тем романтичным, беззаветно преданным другом моей бабушки, к которой трудно отнестись это «старое» слово — ведь прошла она всего лишь двадцать восемь лет.

Я видела Петровобратского в театре. Он — король Лир. Седые пряди, уставшие, сведенные в трагическую дугу брови. Мы сидели с отцом у него за кулисами в антракте.

— Значит, едешь в Астрахань? — он осторожно поправил плетение грубых кожаных сандалий.

— Да! Я хотел! Мне хочется обязательно побывать у мамы. Где искать ее могилу? — спрашивал отец.

— Трудно, Юра! Я сам хоронил Тату, помню только потрясение — жуткое до донску. Где-то под Астраханью ее зарыли колокозакки.

Петровобратский — драматический артист — тогда привез деду ее волосы — косу, и это — единственная память... Что делать? Что делать?!

— Не волнуйтесь, товарищ Дуров, — отвечает начальник, и перед нами вырастает фигура воскоконечного румяного парня в пиджаке и брюках-клеш.

— Папаша! Кто у цирка орудует? — задает ему вопрос.

— Товарищ капитан, вы сами знаете. Не я — Наливной.

— Ну вот, тебя я оставлю в залог... Чтоб сегодня же вещь была найдена! Ясно?

Парень кивнул. А мы, пригорюнившись, побрели к цирку.

Гардеробная. Деловито покашливая, не полая Макара на жердочке и его ворчливый возглас, копирующий уборщицу.

— Да никого нет!

Отец беспрестанно рассказывает о бабушке. Я вижу то ее — первую женщину-конферансье московского кафе «Стоило Пегаса», где собирались поэты, то — маленького мальчика, читающего стихи. Мальчиком был мой отец. То бабушка вырастает передо мной уже не сверхающей красавицей в странных пышных платьях, а медсестрой, ушедшей на фронт вслед за вновь обретенной матерью. А рядом — ее тень, ничего не требующая, со всем соглашающаяся, драматический артист с длинной фамилией Петровобратский.

Его я знаю, но никак почему-то не могу представить его тем романтичным, беззаветно преданным другом моей бабушки, к которой трудно отнестись это «старое» слово — ведь прошла она всего лишь двадцать восемь лет.

Я видела Петровобратского в театре. Он — король Лир. Седые пряди, уставшие, сведенные в трагическую дугу брови. Мы сидели с отцом у него за кулисами в антракте.

— Значит, едешь в Астрахань? — он осторожно поправил плетение грубых кожаных сандалий.

— Да! Я хотел! Мне хочется обязательно побывать у мамы. Где искать ее могилу? — спрашивал отец.

— Трудно, Юра! Я сам хоронил Тату, помню только потрясение — жуткое до донску. Где-то под Астраханью ее зарыли колокозакки.

Петровобратский — драматический артист — тогда привез деду ее волосы — косу, и это — единственная память... Что делать? Что делать?!

— Не волнуйтесь, товарищ Дуров, — отвечает начальник, и перед нами вырастает фигура воскоконечного румяного парня в пиджаке и брюках-клеш.

— Папаша! Кто у цирка орудует? — задает ему вопрос.

— Товарищ капитан, вы сами знаете. Не я — Наливной.

— Ну вот, тебя я оставлю в залог... Чтоб сегодня же вещь была найдена! Ясно?

Парень кивнул. А мы, пригорюнившись, побрели к цирку.

Гардеробная. Деловито покашливая, не полая Макара на жердочке и его ворчливый возглас, копирующий уборщицу.

— Да никого нет!

Отец беспрестанно рассказывает о бабушке. Я вижу то ее — первую женщину-конферансье московского кафе «Стоило Пегаса», где собирались поэты, то — маленького мальчика, читающего стихи. Мальчиком был мой отец. То бабушка вырастает передо мной уже не сверхающей красавицей в странных пышных платьях, а медсестрой, ушедшей на фронт вслед за вновь обретенной матерью. А рядом — ее тень, ничего не требующая, со всем соглашающаяся, драматический артист с длинной фамилией Петровобратский.

Его я знаю, но никак почему-то не могу представить его тем романтичным, беззаветно преданным другом моей бабушки, к которой трудно отнестись это «старое» слово — ведь прошла она всего лишь двадцать восемь лет.

Я видела Петровобратского в театре. Он — король Лир. Седые пряди, уставшие, сведенные в трагическую дугу брови. Мы сидели с отцом у него за кулисами в антракте.

— Значит, едешь в Астрахань? — он осторожно поправил плетение грубых кожаных сандалий.

— Да! Я хотел! Мне хочется обязательно побывать у мамы. Где искать ее могилу? — спрашивал отец.

— Трудно, Юра! Я сам хоронил Тату, помню только потрясение — жуткое до донску. Где-то под Астраханью ее зарыли колокозакки.

Петровобратский — драматический артист — тогда привез деду ее волосы — косу, и это — единственная память... Что делать? Что делать?!

творчество». Да, это были близкие и родные по духу люди в те годы. Они любили цирк и волновались за юную дебютантку. Таясь помогла смоделировать то роковое платье, из-за которого и случилась беда, а Евгений — огромный человек, которого я представляла в роли Ивана Грозного в трагедии Алексея Толстого, подбадривал хорошо поставленным голосом:

— Не работай! Все будет отлично. Теперь все они окружали меня и их одна сплошная улыбка входила в мое сознание, вопрошающе приковывая к корзине цветов.

— Протянул мне отец несколько конвертов, вынутых из корзины. — От мамы и от мамы поздравления, от Литературного института, от владивостокских зрителей... А вот еще, правда, полочничатое, поздравление. Записку береги, часы — тоже тебе, а деньги и шампанское, что там было, — по закону я отдал милиции.

Отец протянул записку Кузнецову, и тот шутливо прочел: — «Наталья Дуровой — премьерше — от благодарной шпаны города Владивостока!»

— Что?! Я ведь говорил! Часы войдут в историю криминалистики, — средиобщего хохота произнес отец.

...Мне позволили взять к себе рысь. Мама ничего не имела против. Ее волновала судьба Котыки — моей первой, трудной работы. Потрясающая, лениво растущая коты. Котыка часами дремала, свернувшись у меня в ногах.

— Глупая ты, Котыка! Я люблю тебя. А ты? — я с горькой укоризной, когда никого не было, разговаривала с ней, внутренне смеясь, что пытаюсь очеловечить меховое существо, которое с удовольствием дремало подле бинтов, покрывающих раны острых клыков, что пролились, конечно, ни о чем не задумываясь.

Котыка потом с раздражением покинула мой номер, нехотя вернувшись в клетку. Мы уезжали из Владивостока. Хотели 7 ноября, праздник, провести в Москве, на Калужской заставе. Наше купе благодаря маме всегда превращалось в уютную гостиницу, которая казалась преддверием дома. Вечером подползли новые полтучки — новые друзья.

Отец горделиво повторяет каждому про мою премьеру. И, как рефрен, фразой, от которой я смущаюсь: — Вела себя молодцом! Это моя корона. Не выдала боль. Держалась до конца. В меня пошла...

Неповодность и ощущение чего-то неподобающего, отношения ко мне не имеющего, в громких, почти хвастливых рассказах отца, заставляло меня ближе приглядываться к маме, чтобы никто моего лица не видел.

— Мама, зачем он так? — Да пусть! Он горд, что ты родилась артисткой. Шумный — он дорогой отдает. Не надо спорить. Посмотри в окно. Скоро Россия, — вздохнула мама. Ее сивнятые веки с длинными ресницами впервые выйдя на рампу к публике, — чужь затрепетали. Но лай двух наших собак, Снежки и Бемби, снял эту родничковую чистоту глаз, которую я всегда пыталась уловить. Она была — как открытая, как заповедь: запомни навсегда. Это самое настоящее — значит, возьми в сердце и береги только там. В каждом сердце есть тихий уголок... В нем не всегда раздается точное биение пульса. Уголок — кладовая памяти. Только тогда, когда ты попытаешься извлечь оттуда то, что тебе дорого, ты услышишь свое сердце. Хорошо, если прислушаешься к нему, — это принесет уверенность и радость. Запомни — навсегда.

— Мама, а от тебя Владивосток уже ушел? — Девочка моя, столько городов еще